

Но ни деизм, ни пантеизм не последовательны у Лермонтова, и его скептические рассуждения о загробной жизни и человеке сопровождаются новым сомнением — на этот раз в состоятельности самого скептицизма:

Но полно! Злобный бес меня завлек
В такие толки. Век наш — век безбожный;
Пожалуй, кто-нибудь, шпион ничтожный,
Мои слова прославит, и тогда
Нельзя креститься будет без стыда;
И поневоле станешь лицемерить,
Смеясь над тем, чему желал бы верить.

Явный отход от ортодоксально-христианских воззрений не связывается у Лермонтова с усвоением какой-либо единой религиозной или философской концепции, но и не приводит к полному отказу от «привычных верований». Христианская религия дает ему не только арсенал символов. Самое их использование становится возможным потому, что с ними для поэта еще по-прежнему связываются основные жизненные категории: добро и зло, любовь и ненависть, вера в жизнь и человека — и полное безверие («Ты говоришь: есть жизнь другая, / И смело веришь ей . . . но я . . .»). Отсюда та «жажда веры», которая звучит у Лермонтова с первых до последних стихов — то как тоска о ее недоступности (*Не обвиняй меня, всесильный*), то как убежденность в ее невозможности (*Я верю, обещаю верить, хоть сам того не испытал . . .*), то как молитва, пусть и утерявшая свою непосредственность и ортодоксальную слепоту (*Крест на скале, Когда б в покорности незнания, Когда, надежде недоступный, Молитва* и др.). Эта жажда веры вместе с традиционным для романтизма обращением к религиозной образности обуславливает и символику *Демона*. Появление в финале поэмы творца, воздающего должное жертве Тамары, отнюдь не оказывается неожиданным, как это уверяют некоторые критики¹. Внимательному читателю Лермонтова это кажется скорее закономерным, перекликаясь не только с его драматургией, лирикой и ранними поэмами, но и с началом самого *Демона*, где, наряду с равнодушным («он занят небом, не землей») и неумолимым, карающим богом («На беззаботную семью, как гром, слетела божья кара . . .») и небесами, как обителью этого сурового бога, появляются беглые упоминания об ином боге и иных небесах — «жилище света», где обитают чистые херувимы и где некогда был так счастлив сам Демон. Этот бог и эти небеса выступают символом идеала в смысле всеобщей гармонии, абстрактно противопоставляемой уделу смирения. Наполняясь этическим значением, тот же символ воплощает в себе «любовь, добро и красоту» как концентрированное выражение общечеловеческого, мы сказали бы, подлинно человеческого идеала. Вера в этого бога давала некогда счастье герою Лермонтова, питая первоначальную гармонию его души. Отпадение от него придает Демону величие, но и обрекает его на мучения, ибо, наполняясь борьбой, его жизнь лишается утверждения, положительного содержания, ибо нарушается гармония внутреннего мира героя, разрывается

¹ См., например, Т. Иванова, *Юность Лермонтова*, Москва, 1957, стр. 314.